

И Ю Н Ы - 73

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ СЕВЕРНЫЙ ОГОНЕК

Знакомьтесь: Григорий Васильев

Этот поэт недавно побывал в нашем городе. Сам сибиряк [Григорий Васильев живет в Новосибирске], он был восхищен размахом строительства и героикой буден сургутов, их поистине сибирским радушием и гостеприимством, начал писать стихи еще в юности. В трудные военные годы, когда остро чувствовался недостаток бумаги, мальчик писал утлем на белой стене, на газете между строчками. Партизаны Прибылка звали его Малым — самым маленьким в отряде. С приходом Советской Армии он ушел в регулярные войска, а затем — в милицию, где и работал до самой пенсии.

Вот почему в его поэзии так больше место занимают милицееские будни, люди этой героической профессии. Многие его стихи — о родном Новосибирске, о милиции, о тайных просторах, о речниках — положены на музыку композиторами Г. Ивановым, В. Левашовым, Д. Шостковичем. Их исполняют Сибирский хор, ансамбль песни и пляски СибВО, хор



имени Пятницкого, солисты филармонии.

И сейчас Г. Васильев много пишет, много ездит. «Хочется туда, где бушуют размашистые стройки, хочется в гущу людей. Сургутские впечатления — записка для будущих стихов».

А пока в Воениздате готовится к печати книга стихов Г. Васильева «Строгая юность». Новосибирское издательство выпустит сборник песен поэта. Сейчас он работает над книгой, рассказывающей об историческом 22-го гвардейского противотанкового Бранденбургского полка. Замыслил Григорий Васильев богат. Хочется превратить ему претворить их в жизнь.

А. ПОХОДЕНКО.

СЫГРАЙ НА БАЯНЕ

На небе — зари
полюхающий кант.
Деревья вершинами
машут.

Сыграй на баяне,
товарищ сержант,
Про жизнь
милицееккую нашу.

В незнакомом бою мы
и ночью и днем —
На страже в любую погоду.
Сыграй на баяне
пеучем своем
О том, как мы служим
народу.

Про город родной, что
обедая в леса,
Про море гирского
хлеба,
Сыграй-ка еще про
девичьи глаза
Синие лазурного неба.

На небе — зари
полюхающий кант,
В патруль нам идти
на рассвете.
Сыграй на баяне,
товарищ сержант,
О Родине, лучшей
на свете.

Сибирская черемуха

Цветущая, нарядная —
Весенней порой,
Сибирская черемуха

Склонилась над рекой.
Глядят ветви белые
В речную синеву,
И от нее, красавицы,
Я глаз не оторву.
Под бархатными кронами
Черемухи родной

Стою и пью,
влюбленный я,
Чарующий настой.
Под Сталинградом
огненным
Такая же цвела.

Меня в бою любимая
От смерти сберегла.
Цветущая, нарядная —
Весенней порой,
Сибирская черемуха
Склонилась над рекой.

МЕДСЕСТРА

Тишина плывет по коридору
В нашем лазарете до утра.
Гаснут зори, день
наступит скоро,
К нам в палату вновь идет
сестра.

Скринпуд пол под
нозанный дорожкой,
Скрытый под чеплом из
полотна.
Медсестра вошла, как та
березка,
Что тряхнула кроной
у окна.

Светится лицо улыбкой
нежной,
Теплотой ласковой, и вот,
Кажется, а халате
Белоснежном
К нам выздоровление
идет.

«На квартиру, говорите? — женщина участливо посмотрела на моих уставших детей. — А вы сюда жить или отдыхать?» Я сказала, что отдыхать. «Брать-то берут. Вот разве к бабе Гале. Только, вряд ли она вам понравится. К бабе Гале, так к бабе Гале. Выбор у меня был невелик.

«Ось она, ее садыба», — указала женщина на усадьбу, уютно приткнувшуюся к берегу не большой поросшей осокой речушки. В зелени сада белела хатенка. Дверь оказалась запертой. Моя проводница постучала в мутное стекло маленького окошка. В хате послышалась глухая кашель, шаркающие шаги. Открывалась, сварило взвигнула дверь. И появилась старуха.

Она смотрела на нас совинными, немигающими глазами. Темные впадины щек, нос, уродливо огромный, а губы... собственно, губы и не было. Рот открывался беззубо, словно яма. Согнутая почти вдвое, она держала руки за спиной. Казалось, опущенные, они коснутся земли.

«Чого тебе, Килина?» — проскрипела старуха. Мне стало не по себе. Но Килина уже боико тараторила: «Я, бабо Галю, вам квартирантов привела. Только дети у нее, бачить!» «Бабу, не слезая, Пустяк проходит, раз пришел». Так мы поселились у бабы Гали.

Как-то спустя месяц я встретила Килину. «Гю, как вы там?» — она многозначительно кивнула в сторону бабы Галиной хаты. Я сказала, что хорошо. Килина недозаречно мыкнула. Почему с таким недружелюбием относилась к бабе Гале Килина? Может, потому, что была она очень старая, замкнутая, с пугающей внешностью. Ровесники ее давно поужаляли, а у молодых была своя жизнь, свое прошлое и будущее. Старуха и не старалась ни с кем сойтись ближе, чем на коротеньке обыденное «доброй день».

Целыми днями копалась баба Галю на огороде. Ее большие мозолистые руки заботливо обхаживали каждый кустик. Казалось, земля тянула ее к себе, и она, склонившись к ней однажды, уже не смогла разогнуться.

Баба Галю была совершенно безграмотная, и когда я писала, сосредоточенно смотрела и, вздыхая, говорила: «ты будто вяжешь». Часами могла слушать радио. Бывало, сидит, поплачет, а я детей, чтобы не мешали, на речку уведу или в кино. Вернемся, она все так же сидит, подперев щеку рукой, облокотившись на стол. Классическую музыку баба Галю не любила, про оперы говорила: «Дуже кричат, а про что — не пойму». Но однажды, услышав полонез Огинского, сказала: «Як соломи каже, аж сердце заболело».

Вечерами, уложив детей спать, мы с бабой Галей заскивались на скамейке у дома. Терпкий запах отдыхающей от зноя земли словно растворялся в вечерней прохладе. Сонно качалась луна в скользящих призрачных облаках. На лугу возле речки пели деачата.

«Вы любили кого-нибудь, бабо Галю?» — спросила я в один из таких вечеров. «Ишь, любопытная же, — усмехнулась она. — Я, дочко, наймичка была, до тридцати лет на чужих людей спину гнула». «Ну и что же, — не сдавалась я. — А замуж вышли, любили ведь?» «Як же могла я любить его? Он ведь богатый был. Овдовев, хозяйство оскрило без женской руки. А я работающая была, ему меня насовато жал. Вот и засватал. Я пошла. Надоело в чужие руки заглядывать, чужой хлеб есть. Я сама себе хозяйкой стала. Семен мой добрый был, иногда только побьет, да тут же и пожалует. Дочь у меня родилась на рождество, помню. А аскрости Семен помер. Ось и вся моя любовь, молодича. Ходим спать, поздно уже», — баба Галю, при-

вечно держа руки за согнутую спиной, тяжело шаркая, пошла в хату.

Однажды мы вернулись из леска. Ввалились в хату веселые, уставшие, с целым ведром грибов. Баба Галю сидела у стола. Коромыслом горбилась ее спина, и лицо казалось еще уродливее. Она вздрагивала, кривилась, а из глаз свиново выкатывались слезы. «Что с вами?» — испугалась я. «Всех их спалили... Господи, до каких пор войны будут?» — словно простонала баба Галю. Наверное, передавали что-то о Вьетнаме, догадалась я. Она всегда слушала последние известия.

Дети улеглись спать, затили, а мы сидели в темной хате, и горькие, словно полынь, падали слова: «Як почую про зверства, свое вспоминаю... Слухай, молодича, мое горе, — так начала свое

Т. Царенко

БАБА ГАЛЮ

Рассказ

страшное повествование баба Галю. — 3 якого края ни начати, а конце не найти. Поминши, я тебе говорила, дочка у меня Бачиш, яка я сейчас. И в молодости красоти не знавала, а дочка уродилась, словно солнышко. Статная она росла да пригожая. Замуж вышла за хорошего парня. Детки родились — две девочки, все в мать, як цветочки. Счастьем ее я счестлива была. А тут война. Андрея, мужа Оксаны моей, в первые дни на фронт забрали. Когда немцы наше село захватили, гануусе семь лет исполнилось, а Наталю четвертый пошел.

В то утро я еще на что-то надеялась. Оладки испекла. Отнесу, думаю, моим сердешным. Ведь три дня голодные, холодные сидят. Казали, Слоха Хотинская коменданту список носила, всех комсомольцев да активистов переписала. Забрали семьдесят человек, и все почти девчата да молодичи. И мою Оксану беда лихая не минула.

Пришла я к жандармерии, а на улице уже совсем рассвело. Бачу, во двор грузовые машины заворачивают, черным брезентом крытые. Остановились. Немцы и полиция с них высказивают. Часовой, что наших сторожил, дверь бросился открывать. Я за забором притаилась. Стали дачат на улицу выгонять. Они полураздетые босые. А мороз на улице — аж дух забивает. Господи, Оксаночка моя! Кофенка разорванная, Наталю к себе прижала, а Ганя за подол цепляется. Увидела я, что их в машины загоняют, высочила. Ганючка закричала: «Бабцю, Бабцю!» А машины уже с места тронулись, только снег взвихрился. Бегу я следом за ними селом и плачу и кричу: «Ой, горе наше, ой, повежли наших детей убивать». Люди за мной побежали.

Полям мы бежали, чтобы не вернули нас. А снег рыхлый, глубокий. Вдур слышим адалеке в лесу выстрелы. Я так и села. Руками снег загребая, хочу дохнуть и только рот раскрываю, аж рыба из воды выкинута. Убились их зарыли, и землю сровняли, и снегом засыпали. В тот же день согнали всех, объявили набор — окопы рыть. Под Киев нас погнали. А через три месяца наше село освободили. Сошлись все мотгуль с разстрелянными отканынати, мы решили их в село перебраться, в братскую могилу. Открыли яму, а дух из нее такой, что подойти невозможно. Я с Лисавейтой Загребельной чуть не всех вынесла из могилы. И у каждого дырочка во лбу, точно посередине, кругленькая такая, маленькая. Я а лица мертвых со страхом смотрела, своих искала. А они на самом дне оказались. Увидела я Оксану и тут же сомыла.

Очулалась в Больнице. Пришла меня Лисавейта Загребельная проводить и говорит: «Галю, ты знаешь, ведь не было в могиле Наталю. Доктор Степан Сидорович, старый такой был, сухонкий, услышал те слова, так будто даже испугался. «Какой Наталю?» — спрашивает. Лисавейта говорит ему: так, мол, и так. Он: «Ось оно что, ось оно что», — и вышел.

Вечером пришел в палату, сел возле меня. Спросил, как себя чувствую. Потом и говорит: «Так по ваша внучка была?» Я так и астрепенулась: «Где была, где?» Он и начал рассказывать.

Степан Сидорович при больнице жил. Ни жены у него не было, ни детей. Жена померла, а дети выросли и разъехались. В то утро он еще спал. Вдур санитарка прибежала, разбудила его, испу-

ганная. «Степан Сидорович, — шепчет, — немцы людей а лес повезли, а на дороге девчачка осталась. Выпала, что ли. Плачет, мать зовет». Степан Сидорович оделся, а санитарка девочку привела. Наталю она незвала, и кушать попросила. Тут услышал Степан Сидорович выстрелы, к окопу бросился. Больница на самой охране стояла. Смотрит он, машины стоят, а из машин женщины выгоняют. Тут яма рядом. Немцы да полиция оцепили это место страшное, а возле ямы стоит один староста Зилько Свиридов (расстреляли, его, ватюгу, наши) и так спокойно пулю в лоб каждой. Догадалась Степан Сидорович, что девчачка — дочь одной из этих несчастных. Может, мать в отчаянии, спасая, выбросила ее из машины.

Ночью кто-то постучал Степану Сидоровичу в дверь. На пороге стоял молодой высокий полицейский. Бесцеремонно оттолкнул доктора, он прошел а комнату, сильно хромая. Наталю спала, разорванными руками. «Где взяла?» — спросил полицейский. Доктор сказал, что это его внучка. «На дороге внучку нашел», — хохотнул полицейский. Потом потребовал одеждо. Завернул а него сплящую девочку и унес. На прощание пригрозил: «Скажешь кому — убью».

Вышла я из больницы, давай людей расспрашивать. Говорят, был такой полицейский хромоногий кожанский, село такое недалеко от нас. Пошла я в Кожанку. Узнала, что ходил у них в полициях Федор Иквичино. Детей у него не было. А перед самым приходом девочку у него появилась. Наталю звали. Как нашей приятель, скрылся он с женой куда-то и девочку с собой забрал. Уж куда я только в розыски не подала. И от радио не отхожу, все надеюсь, вдур что о моей кровиночке скажут. Безграмотная я, а то бы все газеты перечитала, весь мир переспросила. Все думаю, может, поучет ее сердце мою боль да откликнется».

...Прошло семь лет. Я приехала в село и первой, кого астрелила, была Килина. «Умерла баба Галю», — сообщила она мне. Умерла. «Скажите», — спросила а Килину, — она внучку асе искала, не нашла?» «Примезла дичинно, только не Наталю оказалась. С других мест она. А приметы как-будто сходилась».

Мне аахоталось посмотреть на бабу Галину хату. Она еще больше обветшала, как будто выросла в землю. Мне вдур почувствовалось, что это баба Галю, астробившаяся, с надеждой а больно, немигающими глазами зволоченных окон смотрит на дорогу. И ждет, ждет.

Редактор А. ЗУБАРЕВ.